

0174.538
3



0603050
8985110330

МАЯКОВСКИЙ

ОБЛАКО В ШТАНАХ
ХОРОШО





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ

ՎԼԱՈՎՏԱՆԱԽ

ԽՈՐՈՇՈ

Գ



ՀԱՅԵՏԿԻՆԻ ԼԻՍՏԱԿԱՆ
ԵՐԵՎԱՆ, 1987

В. МАЯКОВСКИЙ



ОБЛАКО В ШТАНАХ

ХОРОШО

В 144.598
3



СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА, 1937

1

МАРКОВСКИЙ



ОБДАНОВАШТАН

ХОРОШО



ГОСУДАРСТВЕННАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Художник В. С. Барт

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

„Хорошо“ считаю программной
вещью, вроде „Облака в штанах“
для того времени.

Маяковский. „Я сам“

Две поэмы Маяковского — „Облако в штанах“ и „Хорошо“ — отделены друг от друга двенадцатью годами — 1915 и 1927 год.

„Облако в штанах“ — это предчувствие революции, взволнованное ожидание, призыв.

„Хорошо“ — поэма о победившей революции, подведение итога десятилетнего роста и расцвета первого в мире Союза Социалистических Республик.

„Облако в штанах“ — это отрицание всего буржуазного строя, это крик „долой“, брошенный в лицо капиталистическому миру. Сам Маяковский, восстанавливая после революции обезображенный царской цензурой текст, так сформулировал смысл поэмы:

„Долой вашу любовь“, „долой ваше искусство“, „долой ваш строй“, „долой вашу религию“ — четыре крика четырех частей“.



Поэма „Хорошо“—утверждение победы революционного пролетариата, слава революции, партии, социалистическому отечеству.

Двенадцать лет, отделяющих одну поэму от другой,— это путь, пройденный Маяковским от предреволюционного бунтаря до поэта победившей пролетарской революции. И каждая из этих поэм, говоря словами Маяковского, „программа“ для своего времени. Это как бы начальный и завершающий этапы творческого пути „лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи“ (Сталин).

ОТ НАСТАВЛЕНИЯ

Восклицательный тон поэмы „Хорошо“
 „Хорошо“ — поэма о революции, о партии,
 о нашей стране.
 М. Маяковский

Две поэмы Маяковского — „Хорошо“ и „Хорошо“ — это поэмы о революции, о партии, о нашей стране. Это поэмы о победе революции, о победе партии, о победе нашей страны. Это поэмы о будущем нашей страны, о будущем нашей партии, о будущем нашей революции.

„Хорошо“ — поэма о революции, о партии, о нашей стране. Это поэма о победе революции, о победе партии, о победе нашей страны. Это поэма о будущем нашей страны, о будущем нашей партии, о будущем нашей революции.

„Хорошо“ — поэма о революции, о партии, о нашей стране. Это поэма о победе революции, о победе партии, о победе нашей страны. Это поэма о будущем нашей страны, о будущем нашей партии, о будущем нашей революции.



ՀԱՄԱՅՆԱԴԱՆ
ՆՈՒՆԱԲԱՐՈՅՑ

ОБЛАКО В ШТАНАХ
(ТЕТРАПТИХ)





ПРОЛОГ

Вашу мысль, мечтающую на размягченном мозгу, как выжиревший лакей на засаленной кушетке, буду дразнить об окровавленный сердца лоскут; досыта изъиздеваюсь, нахальный и едкий.

У меня в душе ни одного седого волоса, и старческой нежности нет в ней!



Мир оgrößив мощью голоса,
иду — красивый,
двадцатидвухлетний.

Нежные!
Вы любовь на скрипки лóжите.
Любовь на литавры ложит грубый.
А себя, как я, вывернуть не можете,
чтобы были одни сплошные губы!

Приходите учиться—
из гостиной, батистовая,
чинная чиновница ангельской лиги.

И которая губы спокойно перелистывает,
как кухарка страницы поваренной книги.

Хотите —
буду от мяса бешеный,
— и, как небо, меняя тона —
хотите —

буду безукоризненно нежный,
не мужчина, а — облако в штанах!

Не верю, что есть цветочная Ницца!
Мною опять славословятся
мужчины, залежанные, как больница,
и женщины, истрепанные, как пословица.



Меня сейчас укажет на меня
зачиниста промывания
стоит
корреспондент
Что может хотеться этой теме?
А также выносе корвета!

Ведь для себя неважно
и то; что провозвонил,
и то, что сердце — 1 — сердце
Новую ковертает зван свой

Вы думаете, это бредит малярия?

Это было,
было в Одессе.

„Приду в четыре“, — сказала Мария.
Восемь.
Девять.
Десять.

Вот и вечер
в ночную жуть
ушел от окон
хмурый,
декабрь.

В дряхлую спину хохочут и ржут
канделябры.



Меня сейчас узнать не могли бы:
жилистая громадина
стонет,
корчится.

Что может хотеться этакой глыбе?
А глыбе многое хочется!

Ведь для себя неважно
и то, что бронзовый,
и то, что сердце—холодной железкою
Ночью хочется звон свой
спрятать в мягкое,
в женское.

И вот,
громадный,
горблюсь в окне,
плавлю лбом стекло окошечное.
Будет любовь или нет?
Какая—
большая или крошечная?
Откуда большая у тела такого?
Должно быть, маленький,
смирный любеночек.
Она шарается автомобильных гудков.
Любит звоночки коночек.

Еще и еще,
уткнувшись дождю



ՀԱՅԿԵՏՅԱՆ
ՆՈՒՆԱԳՐԱԴԱՐԱՆ



лицом в его лицо рябое,
жду,
обрызганный громом городского прибора.

Полночь, с ножом мечась, и но и являть
догнала,
зарезала,—
вон его!

Упал двенадцатый час,
как с плахи голова казненного.

В стеклах дождинки серые
свылись,
гримасу громадили,
как будто воют химеры
Собора Парижской Богоматери.

Проклятая!
Что же, и этого не хватит?
Скоро криком издерется рот.
Слышу:
тихо,
как больной с кровати,
спрыгнул нерв.
И вот,—
сначала прошелся



едва-едва,
потом забегал,
взволнованный,
четкий.

Теперь и он и новые два
мечутся отчаянной чечеткой.

Рухнула штукатурка в нижнем этаже.

Нервы
большие,
маленькие,
многие!
скачут бешеные,
и уже
у нервов подкашиваются ноги!

А ночь по комнате тинится и тинится,—
из тины не вытянуться отяжелевшему глазу.

Двери вдруг заляскали,
будто у гостиницы
не попадает зуб на зуб.

Вошла ты,
резкая, как „нате!“,
муча перчатки замш,
сказала:

„Знаете —
я выхожу замуж“.

Что ж, выходите.

Ничего.

Покреплюсь.

Видите—спокоен как!

Как пульс
покойника.

Помните?

Вы говорили:

„Джек Лондон,
деньги,
любовь,
страсть“,—

а я одно видел:
вы—Джиоконда,

которую надо украсть!

И украли.

Опять влюбленный выйду в игры,
огнем озаряя бровей загиб.

Что же!

И в доме, который выгорел,
иногда живут бездомные бродяги!

Дразните?

„Меньше, чем у нищего копеек,
у вас изумрудов безумий“.

Помните!



Погибла Помпея,
когда раздразнили Везувий!

Эй!
Господа!
Любители
святотатств,
преступлений,
боев, —
а самое страшное
видели —
лицо мое,
когда
я
абсолютно спокоен?

И чувствую —
„я“
для меня мало.
Кто-то из меня вырывается упрямо.
Апо!
Кто говорит?
Мама?
Мама!
Ваш сын прекрасно болен!
Мама!
У него пожар сердца.
Скажите сестрам, Люде и Оле, —

ՀԱՅԿԵՅՈՒՆ
ԵՐԿՐԱԾՅՈՒՆ



R144.598

3



ему уже некуда деться.
Каждое слово,
даже шутка,
которые изрыгает обгорающим ртом он,
выбрасывается, как голая проститутка
из горящего публичного дома.

Люди нюхают—
запахло жареным!

Нагнали каких-то.

Блестящие!

В касках!

Нельзя сапожища!

Скажите пожарным:

на сердце горящее лезут в ласках.

Я сам.

Глаза наслезненные бочками выкачу.

Дайте о ребра опереться.

Выскочу! Выскочу! Выскочу! Выскочу!

Рухнули.

Не выскочишь из сердца!

На лице обгорающем

из трещины губ

обугленный поцелуишко броситься вырос.

Мама!

Петь не могу.

У церковки сердца занимается клирос!



Обгорелые фигурки слов и чисел
из черепа,

как дети из горящего здания.

Так страх
схватиться за небо
высил

горящие руки „Лузитании“.

Трясущимся людям

в квартирное тихо

стоглазое зарево рвется с пристани.

Крик последний,—

ты хоть

о том, что горю, в столетия выстони!

2

Славьте меня!

Я великим не чета.

Я над всем, что сделано,

ставлю „nihil“.

Никогда

ничего не хочу читать.

Книги?

Что книги!

Я раньше думал—

книги делаются так:

пришел поэт,
легко разжал уста,
и сразу запел вдохновенный простак,—
пожалуйста!

А оказывается —
прежде чем начнет петься,
долго ходят, размозолев от брожения,
и тихо барахтается в тине сердца
глупая вобла воображения.

Пока выкипачивают, рифмами пиликаая,
из любвей и соловьев какое-то варево,
улица корчится безъязыкая,—
ей нечем кричать и разговаривать.

Городов вавилонские башни,
возгордась, возносим снова,
а бог
города на пашни
рушит,
мешая слово.

Улица мўку молча перла.
Крик торчком стоял из глотки.
Тупорщились, застрявшие поперек горла,
пухлые taxi и костлявые пролетки.
Грудь испешеходили.
Чахотки плоче.



Город дорогу мраком запер.

И когда —
все-таки! —

выхаркнула давку на площадь,
спихнув наступившую на горло паперть,
думалось:

в хорах архангелова хорала

бог, ограбленный, идет карать!

А улица присела и заорала:

„Идемте жрать!“

Гримируют городу Круппы и Круппики
грозящих бровей морщь,



ՀԱՅԿՍՏԱՆԻ
ՊԱՏՄԱՆՈՒԹՅԱՆ



а во рту
умерших слов разлагаются трупики,
только два живут, жирея;
„сволочь“
и еще какое-то,
кажется — „борщ“.

Поэты,
размокшие в плаче и всхлипе,
бросились от улицы, ероша космы:
„Как двумя такими выпеть
и барышню,
и любовь,
и цветочек под росами?“

А за поэтами —
уличные тыщи:

студенты,
проститутки,
подрядчики.

Господа!

Остановитесь!

Вы не нищие,
вы не смеете просить подачки!

Нам, здоровенным,
с шагом саженьим,
надо не слушать, а рвать их —
их,

присосавшихся бесплатным приложением
к каждой двуспальной кровати!

Их ли смиренно просить:

„Помоги мне!“

Молить о гимне,

об оратории!

Мы сами творцы в горящем гимне—
шуме фабрик и лаборатории.

Что мне до Фауста,

феерией ракет

скользящего с Мефистофелем в небесном паркете!

Я знаю—

гвоздь у меня в сапоге

кошмарней, чем фантазия у Гёте!

Я,

златоустейший,

чье каждое слово

душу новородит,

именинит тело,

говорю вам:

мельчайшая пылинка живого

ценнее всего, что я сделаю и сделал!

Слушайте!

Проповедует,

мечась и стена,

сегодняшнего дня крикогубый Заратустра.

Мы

с лицом, как заспанная простыня,

с губами, обвисшими, как люстра,

мы,

каторжане города-лепрозория,

где золото и грязь изъязвили проказу,—

мы чище венецианского лазорья,

морями и солнцами омытого сразу!

Плевать, что нет

у Гомеров и Овидиев

людей, как мы,

от копоты в оспе.

Я знаю—

солнце померкло б, увидев

наших душ золотые россыпи!

Жилы и мускулы—молитв верней.

Нам ли вымаливать милостей времени!

Мы—

каждый—

держим в своей пятерне

миров приводные ремни!

Это взвело на Голгофы аудиторий

Петрограда, Москвы, Одессы, Киева,

и не было ни одного

который

не кричал бы:



04030320
2022010333

„Распни, распни его!“

Но мне —
люди,
и те, что обидели —
вы мне всего дороже и ближе.

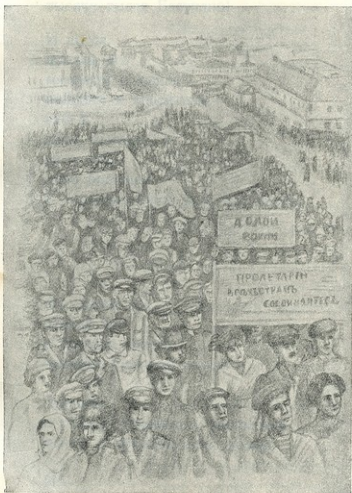
Видели,
как собака бьющую руку лижет?!

Я,
обсмеянный у сегодняшнего племени,
как длинный
скабрзный анекдот,
вижу идущего через горы времени,
которого не видит никто.

{
Где глаз людей обрывается куций,
главой голодных орд,
в терновом венце революций
грядет шестнадцатый год.

А я у вас — его предтеча;
я — где боль, везде;
на каждой капле слезовой течи
распял себя на кресте.
Уже ничего простить нельзя.
Я выжег души, где нежность растили.

Это труднее чем война



как и гибель дредноута
от дулацких снарядов



Это труднее, чем взять
тысячу тысяч Бастилий!

И когда,
приход его
мятежом оглашая,
выйдете к спасителю —

9аико { вам я
душу выташу,
растопчу,
чтоб большая!
и окровавленную дам, как знамя.

Ах, зачем это,
откуда это
в светлое весело
грязных кулачищ замах!

Пришла,
и голову отчаянием занавесила
мысль о сумасшедших домах.

И —
как в гибель дредноута
от душащих спазм



бросаются в разинутый люк —
сквозь свой,
до крика разодранный, глаз
лез, обезумев, Бурлюк.
Почти окровавив исслезённые веки,
вылез,
встал,
пошел,
и с нежностью, неожиданной в жирном человеке,
взял и сказал:
„Хорошо!“
Хорошо, когда в желтую кофту
душа от осмотров укутана!
Хорошо,
когда брошенный в зубы эшафоту
крикнуть —
„Пейте какао Ван-Гутена!“

И эту секунду,
бенгальскую
громкую,
я ни на что б не выменял,
я ни на...

Из сигарного дыма,
ликерною рюмкой,
вытягивалось пропитое лицо Северянина.
Как вы смеее называться поэтом

и, sereneкий, чирикать, как перепел!
Сегодня
надо
кастетом
кроиться миру в черепе!

Вы,
обеспокоенные мыслью одной—
„изящно пляшу ли“,—
смотрите, как развлекаюсь
я— площадной
сутенер и карточный шулер!
От вас,
которые влюбленностью мокли,
от которых
в столетия слеза лилась,
уйду я,
солнце моноклем
вставлю в широко растопыренный глаз.

Невероятно себя нарядив,
пойду по земле,
чтоб нравился и жегся,
а впереди,
на цепочке, Наполеона поведу, как мопса.

Вся земля поляжет женщиной,
заерзает мясами, хотя отдаться;



вещи оживут —
губы вещины
засюсюкают:
„цаца, цаца, цаца!“

Вдруг
и тучи,
и облачное прочее
подняло на небе невероятную качку,
как будто расходятся белые рабочие,
небу объявив озлобленную стачку.
Гром из-за тучи, зверея, вылез,
громadne ноздри задорно высморкал,
и небе лицо секунду кривилось
суровой гримасой железного Бисмарка.
И кто-то,
запутавшись в облачных путах,
вытянул руки к кафе —
и будто по-женски,
и нежный как будто,
и будто бы пушки лафет.

Вы думаете —
это солнце нежненько
треплет по щечке кафе?
Это опять расстрелять мятежников
грядет генерал Галифет!

Выньте, гулящие, руки из брюк—
берите камень, нож или бомбу,
а если у которого нету рук—
пришел чтоб и бился лбом бы!

Идите, голодненькие,
потненькие,
покорненькие,
закисшие в блохастом грязненьке!

Идите!

Понедельники и вторники
окрасим кровью в праздники!

Пускай земле под ножами припомнится,
кого хотела опощить!

Земле,
обжиревшей, как любовница,
которую вылюбил Ротшильд!

Чтоб флаги трепались в горячке пальбы,
как у каждого порядочного праздника—
выше вздымайте, фонарные столбы,
окровавленные туши лабазников.

Изругивался,
вымаливался,
резал,
лез за кем-то
вгрызаться в бока.

На небе, красный, как марсельеза,
вздрагивал, околежая, закат.



Уже сумасшествие.

Ничего не будет.

Ночь придет,

перекусит

и съест.

Видите—

небо опять иудит

пригоршню обрызганных предательством звезд.

Пришла.

Пирует Мамаем,

задом на город насев.

Эту ночь глазами не проломаем,

черную, как Азеф!

Ежусь, зашвырнувшись в трактирные углы,

вином обливаю душу и скатерть

и вижу:

в углу глаза круглы,

глазами в сердце въелась богоматерь.

Чего одаривать по шаблону намалеванному

сиянием трактирную ораву!

Видишь — опять

Голгофнику оплеванному

предпочитают Варавву?

Может быть, нарочно

в человечьем месиве
лицом никого не новей.
Я,
может быть,
самый красивый
из всех твоих сыновей.
Дай им,
заплесневшим в радости,
скорой смерти времени,
чтоб стали дети, должны подрасти,
мальчики — отцы,
девочки — забеременели.
И новым рожденным дай обрасти
пытливой сединой волхвов,
и придут они —
и будут детей крестить
именами моих стихов.
Я, воспевающий машину и Англию,
может быть, просто,
в самом обыкновенном евангелии,
тринадцатый апостол.
И когда мой голос
похабно ухает —
от часа к часу,
целые сутки,
может быть, Иисус Христос нюхает
моей души незабудки.



Мария! Мария! Мария!
Пусти, Мария!
Я не могу на улицах!
Не хочешь?
Ждешь,
как щеки провалятся ямкою,
попробованный всеми,
пресный,
я приду
и беззубо прошамкаю,
что сегодня я
„удивительно честный“.

Мария,
видишь—
я уже начал сутулиться.

В улицах
люди жир прордырявят в четырехэтажных зобах,
высунут глазки,
потертые в сорокгодовой таске,—
перехихикиваться,
что у меня в зубах
— опять!—
черствая булка вчерашней ласки.
Дождь обрыдал тротуары,

лужами сжатый жулик,
мокрый, лижет улиц забитый булыжником труп,
а на седых ресницах —
да!

на ресницах морозных сосулек
слезы из глаз—

да!

из опущенных глаз водосточных труб.

Всех пешеходов морда дождя обсосала,
а в экипажах лощился за жирным атлетом атлет:
лопались люди,

проевшись насквозь,
и сочились сквозь трещины сало,
мутной рекой с экипажей стекала,
вместе с иссосанной булкой,
животина старых котлет.

Мария!

Как в зажившее ухо втиснуть им тихое слово?

Птица

побирается песней,

поет,

голодна и звонка,

а я человек, Мария,

простой,

выхарканный чахоточной ночью в грязную руку

Пресни.

Мария, хочешь такого?



НАЦІАНАЛЬНАЯ
БІБЛІАТЭКА РЭСПУБЛІКІ
БЕЛАРУСЬ

Пусти, Мария!
Судорогой пальцев зажму я железное горло
звонка!

Мария!

Звереют улиц выгоны.
На шее, ссадиной, пальцы давки.

Открой!

Больно!

Видишь — натыканы
в глаза из дамских шляп булавки!

Пустила.

Детка!

Не бойся,
что у меня на шее воловьей
потноживотые женщины мокрой горою сидят, —
это сквозь жизнь я ташу
миллионы огромных чистых любовей
и миллион миллионов маленьких грязных любят.
Не бойся,
что снова,
в измены ненастье,
прильну я к тысячам хорошеньких лиц, —
„любящие Маяковского!“ —

да ведь это ж династия
на сердце сумасшедшего восшедших цариц.

Мария, ближе!

В раздетом бесстыдстве,

в боящейся дрожи ли,

но дай твоих губ неисцветшую прелесть:

я с сердцем ни разу до мая не дожили,

а в прожитой жизни

лишь сотый апрель есть.

Мария!

поэт сонеты поет Тиане,

а я —

весь из мяса,

человек весь —

тело твое просто прошу,

как просят христиане

„хлеб наш насущный

даждь нам днесь“.

Мария — дай! !

Мария!

Имя твое я боюсь забыть,

как поэт боится забыть

какое-то

в муках ночей рожденное слово,

величием равное богу.

Тело твое



ՀԱՄԵՆԻԱ
ՀԻՆՆԱԳՐԱԴԱՐԱՆ

я буду беречь и любить,
как солдат,
обрубленный войною,
ненужный,
ничей,
бережет свою единственную ногу.
Мария —
не хочешь?
Не хочешь!

Ха!

Значит — опять
темно и понуро
сердце возьму,
слезами окапав,
нести,
как собака,
которая в конуру
несет
переехannую поездом лапу.
Кровью сердца дорогу радую,
липнет цветами у пыли кителя.
Тысячу раз опляшет Иродиадою
солнце землю —
голову Крестителя.
И когда мое количество лет
выпляшет до конца —

миллионом кровинок устелется след
к дому моего отца.

Вылезу
грязный (от ночевок в канавах),
стану бок-о-бок,
наклонюсь
и скажу ему на ухо:

Послушайте, господин бог!
Как вам не скушно
в облачный кисель
ежедневно обмакивать раздобревшие глаза?
Давайте — знаете —
устроимте карусель
на дереве изучения добра и зла!
Вездесущий, ты будешь в каждом шкапу,
и вина такие расставим по столу,
чтоб захотелось пройтись в ки-ка-пу
хмурому Петру Апостолу.
А в рае опять поселим Евочек:
прикажи, —
сегодня ночью ж.
со всех бульваров красивейших девочек
я натащу тебе.
Хочешь?
Не хочешь?
Мотаешь головою, кудластый?



Супишь седую бровь?
Ты думаешь —
этот,
за тобою, крыластый,
знает, что такое любовь?
Я тоже ангел; я был им —
сахарным барашком выглядывал в глаз,
но больше не хочу дарить кобылам
из севрской мўки изваянных ваз.
Всемогущий, ты выдумал пару рук,
сделал,
что у каждого есть голова, —
отчего ты не выдумал,
чтоб было без мук
целовать, целовать, целовать?!
Я думал — ты всеильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик.
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.
Крыластые прохвосты,
жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Пустите!



ՀԱՅԿԵՏՅԱՆ
ՆՈՒՆԳՐԱԾԱՆՔ





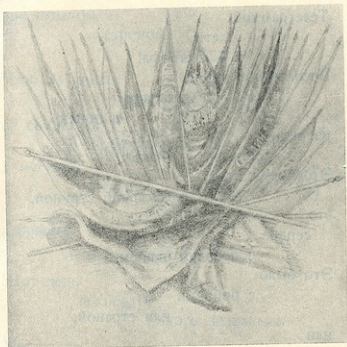
Меня не остановите.
Вру я,
в праве ли,
но я не могу быть спокойней.
Смотрите —
звезды опять обезглавили
и небо окровавили бойней!
Эй, вы!
Небо!
Снимите шляпу!
Я иду!

Глухо.

Вселенная спит,
положив на лапу
с клещами звезд огромное ухо.

Х О Р О Ш О!
ОКтябрьская поэма

Время —
весь
— необычайно длинная
была времена —
привык бытия.
И бытия,
и: эндемично
и: эндемично.



1

Время —
вещь необычайно длинная:
были времена —
прошли былинные.
Ни былин,
ни эпосов,
ни эпопей.



Телеграммой

лети,

строфа!

Воспаленной губой

припади

и попей

из реки

по имени — „Факт“.

Это время гудит

телеграфной струной,

это

сердце

с правдой вдвоем.

Это было

с бойцами

или страной,

или

в сердце

было

в моем.

Я хочу,

чтобы, с этою

книгой побыв,

из квартирному

мирка

шел опять

на плечах

пулеметной пальбы,



как штыком,
 строкой
 просверкав.
Чтоб из книги
 через радость глаз,
от свидетеля
 счастливого, —
в мускулы
 усталые
 лилась —
 строящая
 и бунтующая сила.
Этот день
 воспевать
 никого не найдем.
Мы
 распнем
 карандаш на листе,
чтобы шелест страниц,
 как шелест знамен,
надо лбами
 годов
 шелестел. —



„Кончайте войну!
Довольно!
Будет!
В этом
голодном году —

невмоготу.

Врали:

„народа —
свобода,
вперед,
эпоха,
заря...“ —

и зря.

Где

земля,

и где

закон,

чтобы землю

выдать

к лету? —

Нету!

Что же,

дают

за февраль,

за работу,



за то, что с фронтов
не бежишь?—

Шиш.
На шее
кучей
Гучковы,
черти,
министры,
Родзянки...

Мать их за ноги!
Власть
к богатым
рыло
воротит —
чего
подчиняться
ей?!

Бей!!“
То громом,
то шопотом
этот ропот!
сползал
из Керенской
тюрьмы-решета!

В деревни
шел
по травам и тропам,



в заводах
сталью зубов скрежетал.

Чужие
партии
бросали швырком.

На что им
сбор
болтунов
дался?!

И отдавали
большевикам
гроши,
и силы,
и голоса.

До самой
мужичьей
земляной башки
докатывалась слава, —

лилась
и слыла,
что есть

за мужиков
какие-то
«большаки»

— у-у-у!
Сила! —

Царям
дворец
построил Растрелли.
Цари рождались,
жили,
старели.
Дворец
не думал
о вертлявом постреле, —
не гадал,
что в кроваги,
царицам вверенной,
раскинется
какой-то
присяжный поверенный.
От орлов,
от власти,
одеял
и кружевца,
голова
присяжного поверенного
кружится.
Забывши
и классы
и партии,
идет



на дежурную речь.
Глаза у него бонапартьи
и цвета защитного френч.
Слова и слова. Огнесловая лава.
Болтает сорокой радостной.
Он сам опьянен своею славой
пьяней, чем сорокаградусной.
Слушайте, пока не устанете,
как щебечет иной адъютантик:
„Такие случаи были —
он едет в автомобиле.
Узнавши, кто и который, —
толпа распрягла моторы!

Взамен
 лошадиной силы
сама
 на руках носила!
В аплодисментном
 плеске
премьер
 проплывает
 над Невским,
и дамы,
 и дети-пузанчики
кидают
 цветы и розанчики. —
Если ж
 с безработы
 загрустится,
сам
 себя
 уверенно и быстро
назначает —
 то военным,
 то юстиции,
то каким-нибудь
 еще
 министром.
И вновь
 возвращается,
 сказав,

ворочать дела
и вертеть казну.
Подмахивает подписи
достойно
и старательно.
„Аграрные?
Беспорядки?
Ряд?
Пошлите
этот,
как его,—
карательный
отряд!
Ленин?
Большевики?
Арестуйте и выловите!
Что?
Не дают?
Не слышу без очков.
Кстати...
об его превосходительстве...
Корнилове...
Нельзя ли
сговориться
сюда
казачков?!.
Их величество?
Знаю.

Ну да!..

И руку жал.

Какая ерунда!

Императора?

На воду?

И черную корку?

При чем тут совет?

Приказываю

туда,

В Лондон,

к королю Георгу“.

Пришит к истории,

пронумерован

и скреплен,

и его

рисуют —

и Бродский и Репин.

4

Петербургские окна.

Синё и темно.

Город

сном

и покоем скован.



ՀԱՅԿԵՏՆԵՐ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Но не спит

мадам Кускова.

Любовь и страсть вернулись к старушке.

Кровать и мечты

розоватит восток.

Ее

волос

пожелтлые стружки

причудливо

склеил

слезливый восторг.

С чего это

девушка

сохнет и вянет?

Молчит...

но чувство,

видать, велико.

Ее

утешает

усастая няня,

видавшая виды —

Пе Эн Милюков.

„Не спится, няня.

Здесь так душно...

Открой окно

да сядь ко мне“.

— Кускова,

что с тобой?

„Мне скушно...

Поговорим о старине“.

— О чем, Кускова?

Я,

бывало,

хранила

в памяти

немало

старинных былей,

небылиц —

и про царей

и про цариц.

И я б,

с моим умишкой хилым, — не

короновала б

Михаила,

чем брать

династию

чужую...

Да ты

не слушаешь меня?..

„Ах, няня, няня,

я тоскую.

Мне тошно, милая моя.



Я плакать,
я рыдать готова...“

— Господь помилуй
и спаси...

.. Чего ты хочешь?
Попроси.

Чтобы тебе
на нас
не дуться,
дадим свобод
и конституций...

Дай,
окроплю
речей водою
горящий бунт...

„Я не больна
Я...
знаешь, няня...“

Влюблена...“
— Дитя мое,
господь с тобою!—

И Милюков
ее
с мольбой

крестил
профессорской рукой.

— Оставь, Кускова,
в наши лета

любить
 задаром
 смысла нету.
 „Я влюблена“, —
 шептала
 снова
 в ушко
 профессору
 она.
 — Сердечный друг,
 ты нездорова. —
 „Оставь меня,
 я влюблена“.
 — Кускова,
 нервы, —
 полечись ты... —
 „Ах, няня,
 он
 такой речистый...
 Ах, няня-няня!
 няня! —
 Ах!
 Его же ж
 носят на руках.
 А как поет он
 про свободу...
 Я с ним хочу, —



не с ним,
так в вводу".

Старушка
тычется в подушку,
и только слышно:
„Саша!
Душка!“

Смахнувши
слезы
рукавом,
взревел усастый нянь:
— В кого?

Да говори ты нараспашку!—
„В Керенского...“
— В какого?
В Сашку? —

И от признания
такого
лицо
расплылось
Милюкова.

От счастья
профессор ожил:
— Ну, это что ж —
одно и то же!

При Николае
и при Саше

мы
сохраним доходы наши. —

Быть может,
на берегах Невы
подобных
дам
видали вы?

5

Звякая
шпорами
довоенной выковки,
аксельбантами
увешанные до пупов,
говорили —
адъютант
(в „Селекте“ на Лиговке)

и штабс-капитан
Попов.
„Господин адъютант,
не возражайте, —
скажите, —
чего еще
поджидаем мы?“



Россию
 жиды
 продают жидам,
и кадровое
 офицерство
 уже под жидами!
Вы, конечно,
 профессор,—
 либерал,
но казачество
 пожалуйста
 оставьте в покое.
Например,
 мое положенье беря,
это...
 чорт его знает, что это такое!
Сегодня с денщиком:
 ору ему:
 — „Эй!
наваксь
 штиблетину,
 чтоб видеть рыло в ней“.—
И конечно —
 к матушке,
 а он меня
 к моей,
к матушке,



к свет
к Елизавете Кирилловне! —
Нет,
я не за монархию
с коронами,
с орлами, —
но
для социализма
нужен базис.
Сначала демократия,
потом
парламент.
Культура нужна.
А мы —
Азия-с!
Я даже —
социалист.
Но не граблю,
не жгу.
Разве можно сразу?
Конешно, нет!
Постепенно,
понемногу,
по вершочку,
по шажку,
сегодня,
завтра,
через двадцать лет.



А эти?
— От Вильгельма кресты да ленты.
В Берлине
выходили
с билетом перронным.
Деньги
штаба —
шпионы и агенты.
В Кресты бы
тех,
кто ездит в plombированном!
— С этим согласен,
это конешно,
этой сволочи
мало повешено. —
„Ленин,
который смуту сеет,
Председателем,
што ли,
совета министров?
Что ты?!
Рехнулась, старушка Расея?
Касторки прими!
Поправся!
Выздоровь!
Дудки!
С казачеством
шутки плохй —

повыпускаем

им

потроха...“

И всё адъютант —

ха да хи,

Попов —

хи да ха.

„Будьте дважды прокляты

и трижды поколейте!

Господин адъютант,

позвольте ухо:

их

...ревосходительство

...ерал

Каледин

с Дону,

с плеточкой,

извольте понюхать!

Его превосходительство...

Да разве он один?!

Казачество кубанское,

Днепр,

Дон...“

И всё стаканами —

дон и день,

и шпорами —

день и дон.

Капитан
упился, как сова.
Челядь
чайники
бесшумно подавала.
А в конце у Лиговки
другие слова
подымались
из подвалов.
„Я,
товарищи, —
из военной бюры.
Кончили заседание —
тòка-тòка. —
Вот тебе
к маузеру,
двести бери,
а это —
сто патронов
к винтовкам.
Пока
соглашатели
замазывали рты,
подходит
казатчина
и самокатчина.

Приказано
 питерцам
 итти на фронты,
а сюда
 направляют
 с Гатчины.

Вам,
 которые
 с Выборгской стороны,
вам
 заходить
 с моста Литейного.

В сумерках,
 тоньше
 дискантовой струны,
не галдеть
 и не делать
 заведенья питейного.

Я
 беру телефон, —
не задушим,
 так нас задушат.

Или
 возьму телефон,
 или вон
из тела
 пролетарскую душу.



ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Сам
приехал,
в пальтишке рваном,—
ходит,
никем не опознан.
Сегодня,
говорит,
подыматься рано.
А послезавтра—
поздно.
Завтра, значит.
Ну, не сдобровать им!
Быть
Керенскому
биту и ободрану.
Уж мы
подыдем
с царевой кровати
эту
самую
Александрю Федоровну“.

6

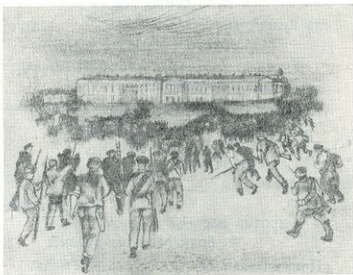
Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами,

как дуют
при капитализме.
За Троицкий
дули
авто и трамы,
обычные
рельсы
вызмеив.
Под мостом
Нева-река,
по Неве
плывут кронштадтцы...
От винтовок говорка
скоро
Зимнему шататься.
В бешеном автомобиле,
покрышки сбивши,
тихий,
вроде
упакованной трубы,
за Гатчину,
забившись,
улепетывал бывший. —
„В рог,
в бараний!
Взбунтовавшиеся рабы!..“
Видят
редких звезд глаза,



окружая
Зимний
в кольца,
по Мильонной
из казарм
надвигаются кексгольмцы.
А в Смольном,
в думах
о битве и войске,
Ильич
гримированный
мечет шажки,
да перед картой
Антонов с Подвойским
втыкают
в места атак
флажки.
Лучше
власть
добром оставь,
никуда
тебе
не деться!
Ото всех
идут
застав
к Зимнему
красногвардейцы.

Отряды рабочих,
 матросов,
 голи
дошли,
 штыком домерцав,
как будто
 руки
 сошлись на горле,
холеном
 горле
 дворца.
Две тени встало,
 огромных и шатких.



Сдвинулись.
Лоб о лоб.

И двор
дворцовый
руками решетки

стиснул
торс
толп.

Качались
две
огромных тени
от ветра
и пуль скоростей, —

да пулеметы,
будто
хрустенье
ломаемых костей.

Серчают стоящие павловцы.

„В политику..
начали..
баловаться...

Куда
против нас
бочкаревским дурам?!

Приказывали б
на штурм“.

Но тени
 боролись,
 спутав лапы, —
и лап
 никто
 не разнимал и не рвал.
Не выдержав
 молчания,
 сдавался слабый —
уходил
 от испуга,
 от нерва.
Первым,
 боязнью одолен,
снялся
 бабий батальон.
Ушли с батарей
 к одиннадцати
михайловцы или константиновцы...
— А Керенский
 спрятался,
 попробуй
 вымань его! —
Задумывалась
 казачья башка.
И
 редели
 защитники Зимнего,

как зубья
у гребешка.
И долго
длилось
это молчанье,
молчанье надежд
и молчанье отчаянья.
А в Зимнем,
в мягких мебелих
с бронзовыми выкрутами,
сидят
министры
в меди блях,
и пахнет
гладко выбритыми.
На них не глядят
и их не слушают —
они
у штыков в лесу.
Они
упадут
переспевшей грушею,
как только
их
потрясут.
Голос — редок.
Шопотом,
знаками.

— Керенский где-то? —

Он?

За казаками. —

И снова молча.

И только

под вечер:

— Где Прокопович? —

— Нет Прокоповича. —

А из-за Николаевского

чугунного моста,

как смерть,

глядит

неласковая

Аврорьих

башен

сталь.

И вот

высоко

над воротником

поднялось

лицо Коновалова.

Шум,

который

тек родником,

теперь

прибоем наваливал.

Кто длинный такой?..

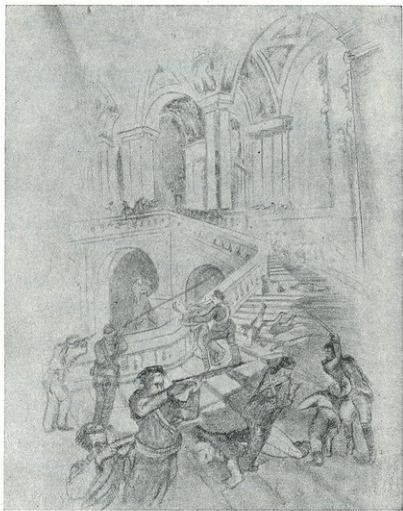
Дотянуться смог!

По каждому —
из стекол
удары палки.
Это —
из трехдюймовок
шарахнули
форты Петропавловки.
А поверху —
город
как будто взорван —
бабахнула
шестидюймовка Авророва.
И вот
еще
не успела она
рассыпаться,
гулка и грозна —
над Петропавловкой
взвился
фонарь,
восстанья
условный знак.
— Долой!
На приступ!
Вперед!
На приступ! —

Ворвались.
 На ковры!
 Под раззолоченный кров!
Каждой лестницы
 каждый выступ
брали,
 перешагивая
 через юнкеров.
Как будто
 водою
 комнаты пѳлня,
текли,
 сливались
 над каждой потерей,
и схватки
 вспыхивали
 жарче полдня
за каждым диваном,
 у каждой портьеры.
По этой
 анфиладе,
 приветствиями оранной
монархам,
 несущим
 короны-клады, —
бархатными залами,
 раскатистыми коридорами



гремели,
бились
сапоги и приклады.
Какой-то
смущенный
сукин сын,
а над ним
путиловец —
нежней папаша.
„Ты,
парнишка,
выкладывай
ворованные часы —
часы
теперича
наши!“
Топот рос
и тех
тринадцать
сгреб,
забил,
зашиб,
затыркал.
Забились,
под галстук —
за что им приняться? —
Как будто
топор
навис над затылком.





За двести шагов...

за тридцать...

за двадцать...

Вбегает

юнкер:

„Драться глупо“.

Тринадцать визгов:

— Сдаваться!

Сдаваться! —

А в двери —

бушлаты,

шинели,

тулупы...

И в эту

тишину,

раскатившийся всласть

бас,

окрепший

над реями рея:

„Которые тут временные?

Слазь!

Кончилось ваше время“.

И один

из ворвавшихся,

пенснишки тронув,

объявил,

как о чем-то простом

и несложном:



„Я,
председатель реввоенкомитета
Антонов,
Временное
правительство
объявляю низложенным“.
А в Смольном
толпа, —
растопырив груди,
покрывала
песней
фейерверк сведений.
Впервые
вместо:
— и это будет... —
пели:
— и это есть
наш последний... —
До рассвета
осталось
не больше аршина, —
руки
лучей
с востока взмолены.
Товарищ Подвойский
сел в машину,
сказал устало:
„Кончено...
В Смольный“.



Умолк пулемет.
Угодил толков.

Умолкнул
пуль
звнящий улей.

Горели,
как звезды,
границы штыков,
бледнели
звезды небес
в карауле.

Дул,
как всегда,
октябрь
ветрами.

Рельсы
по мосту вызмеив,
гонку
свою
продолжали трамы,
уже —
при социализме.

7

В такие ночи,
в такие дни,

в часы
такой поры
на улицах
разве что
одни
поэты
и воры.
Сумрак
на мир
океан катнул.
Синь.
Над кострами —
бур.
Подводной
лодкой
пошел ко дну
взорванный
Петербург.
И лишь
когда
от горящих вихров
шатался
сумрак бурый,
опять вспоминалось:
с боков
и с верхов
непрерывная буря.

На воду
 сумрак
 похож и так,—
бездонна
 синяя прорва.
А тут
 еще
 и виденьем кита,
туша
 Авророва.
Огонь
 пулеметный
 площадь остриг.
Набережные —
 пусты.
И лишь
 хорохорятся
 костры
в сумерках
 густых.
И здесь,
 где земля
 от жары вязка,
с испугу
 или со льда,
ладони
 держа
 у огня в языках,



ՀԱՄԱՅԵՆԱՆ
ԳՆԱԿԱԳՐԱԴԱՐԱՆ

греется
солдат.
Солдату
упал
огонь на глаза,
на клоч
волос
лег.
Я узнал,
удивился,
сказал:
„Здравствуйте,
Александр Блок.
Лафа футуристам,
фрак старья
разлазится
каждым швом“.
Блок посмотрел —
костры горят —
„Очень хорошо“.
Кругом
тонула
Россия Блока!..
„Незнакомки“,
„дымки севера“
шли
на дно,
как идут
обломки

и жестянки
 консервов.
И сразу
 лицо
 скупее менял,
мрачнее,
 чем смерть на свадьбе:
„Пишут...
 из деревни...
 сожгли...
 у меня...
библиотеку в усадьбе“.
Уставился Блок —
 и Блокова тень
глазее,
 на стенке привстав...
Как будто
 оба
 ждут по воде
шагающего Христа.
Но Блоку
 Христос
 являться не стал.
У Блока
 тоска у глаз.
Живые,
 с песней
 вместо Христа,



НАЦИОНАЛНА
БИБЛИОТЕКА
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

люди
из-за угла.

— Вставайте!

Вставайте!

Вставайте!

Работники
и батраки.

Зажмите,
косарь и кователь,

винтовку
в железо руки!

Вверх —
флаг!

Рвань —
встань!

Враг —
ляг!

День —
дрянь.

За хлебом!

За миром!

За волей!

Бери
у буржуев

завод!

Бери
у помещика поле!

Братайся,
дерущийся взвод!

Сгинь —
стар.

В пух,

в прах.

Бей —
бар!

Трах!
тах!

Довольно,
довольно,
довольно

покорность
нести
на горбах.

Дрожи,
капиталова дворня!

Тряситесь,
короны,
на лбах!

Жир
ёжь

страх
плах!

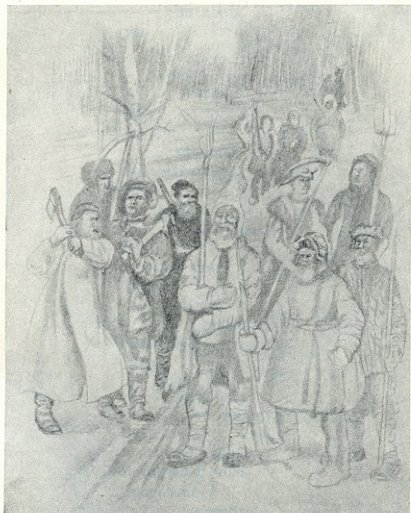
Трах!
тах!

Тах!
тах! —

Эта песня,
перепетая по-своему,
доходила
до глухих крестьян —
и вставали села,
содрогая воем,
по дороге
топоры крестя.
— Но-
жи-
чком
на
месте чик
лю-
то-
го
по-
мещика.
Гос-
по-
дин
по-
мещичек,
со-
би-
райте
вещи-ка!



ՀԱՄԱՅԵՐԻ
ՆՈՒՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ



До-
шло
до поры,
вы-
хо-
ди
босы,
вос-
три
топоры,
подымай косы.
Чем
хуже
моя Нина?!
Ба-
рыни сами.
Ташь
в хату
пианино,
граммофон с часами!
Под-
хо-
ди-
те, орлы!
Будя —
пограбили.
Встречай в колы,
провожай
в грабли!

Дело
Стеньки
с Пугачевым,
разгорайся жарче-ка!
Все
поместья
богачевы
разметем пожарчиком.
Под-
пусть
петуха!
Подымай вилы!
Эх,
не
потухай,—
пе-
тух милый!—
Чорт
ему
теперь
родня!
Головы —
кочаном.
Пулеметов трескотня
сыпется с тачанок.
„Эх, яблочко,
цвета ясного.



Бей
справа
белаво,
слева краснова".
Этот вихрь,
от мысли до курка,
и постройку
и пожара дым
прибирала
партия
к рукам,
направляла,
строила в ряды.

8

Холод большой.
Зима здорова.
Но блузы
прилипли к потненьким.
Под блузой коммунисты
грузят дрова
на трудовом субботнике.
Мы не уйдем,
хотя
уйти
имеем



все права.
В *наши* вагоны,
наши на *нашем* пути,
грузим
дрова.

Можно
уйти
часа в два,—
но мы —
уйдем поздно.

Нашим товарищам
наши дрова
нужны:
товарищи мерзнут.

Работа трудна,
работа
томит.

За нее —
никаких копеек.

Но *мы*
работаем,
будто *мы*
делаем

величайшую эпопею.
Мы будем работать,
все стерпя,
чтоб жизнь,
колеса дней торопя,



бежала
в железном марше
в наших вагонах,
по нашим степям,
в города
промерзшие
наши.

„Дяденька,
что вы делаете тут,
столько
больших дядей?“

— Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
сбравшихся людей.

9

Перед нашу
республикой
стоят богатые.
Но как постичь ее?
И вопросам
разнедоуменным
нет числа:



что это
за нация такая
„социалистичья“,
и что это за
„соци-
алистическое отечество“?
„Мы
восторги ваши
понять бессильны.
Чем восторгаются?
Про что поют?
Какие такие
фрукты-апельсины
растут
в большевицком вашем
раю?
Что вы знали
кроме хлеба и воды,—
с трудом
перебиваясь
со дня на день?
Такого отечества
такой дым
разве уж
настолько приятен?
За что вы
идете,
если велят —
„воюй“?

Можно
быть
разорванным бѳмбицею,

можно
умереть
за землю за *свою*,

но как
умирать
за общую?

Приятно
русскому
с русским обняться,—

но у вас
и имя
„Россия“

утрачено.

Что это за
отечество
у забывших об нации?

Какая нация у вас?

Коминтерина?

Жена,
да квартира,
да счет текущий—

вот это —
отечество,
райские кущи.



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҒАЛМАҚАТ АКАДЕМИЯСЫ

Ради бы
вот
такого отечества
мы понимали
и смерть
и молодечество“.

Слушайте,
национальный трутень,—
день наш
тем и хорош, что труден.
Эта песня
песней будет
наших бед,
побед,
буден.

Политика
проста,
как воды глоток.
Понимают
ощерившие
сытую пасть,
что если
в Россиях
увязнет коготок,

всей
буржуазной птичке —
пропасть,
Из „сюртэ жeneralь“,
из „интелидженс сервис“,
„дефензивы“
и „сигуранцы“
выходит
разная
сволочь и стерва,
шьет
шинели
цвета серого,
бомбы
кладет
в ранцы.
Набились в трюмы,
палубы обсели
на деньги
вербовочного агентства.
В Новороссийск
плывут из Марсея,
из Дувра
плывут к Архангельску.
С песней,
с вiски,
сыты по-свински.
Килями
вскопаны

воды холодные.

Смотрят

перископами

лодки подводные.

Плывут крейсера,

снаряды соря.

И

миноносцы

с минами носятся.

А

поверх всех

с пушками

чудовищной длинноты

сверх-

дредноуты.

Разными

газами

воня гадко,

тучи

пропеллерами выдрав,

с авиоматки

на авиоматку

пе-

ре-

пархивают „гидро“.

Послал

капитал

капитанов ученых.

Горло
нащупали
и стискивают.
Ткнешься
в Белое,
ткнешься
в Черное,
в Каспийское,
в Балтийское,—
куда
корабль
ни тычется,
конец
катаниям:
стоит
морей владычица,
бульдожья
Британия.
Со всех концов
блокады кольцо
и пушки
смотрят в лицо.
— Красным не нравится?!
Им
голодно?!

Рыбкой
наедитесь,
пойдя
на дно.—

А кому
на суше
грабь охота,
те
с кораблей
сходили пехотой.
На море потопим,
на суше
готопаем.
Чужими
руками
жар гребя,
дым
отчества
пускают
пострелины —
выставляют
впереди
одураченных ребят,
баронов
и князей недорасстрелянных.
Могилы копайте,
гроба копите,—
Юденича
рати
прут
на Питер.

В обозах
ёды вкúсняются,
консервы —
пуд.
Танков
гусеницы
на Питер
прут.
От севера
идет
адмирал Колчак,
сибирский
хлеб
сапогом толча.
Рабочим на расстрел,
поповнам на утехе,
с ним
идут
голубые чехи.
Траншей,
машинами выбранные,
саперами
Крым
перекопан,—
Врангель
крупнокалиберными
орудует
с Перекопа.

Любят
полковников
сантиментальные леди.
Полковники
любят
поговорить на обеде.
— Я
иду, мол
(прихлебывает виски),
а на меня
десяток
чудовищ
большевицких.
Раз — одного,
другого —
рраз,—
кстати,
как лэнди,
и девушку спас.
Леди,
спросите
у мерина сивого —
он
как Мурманск
разизнасилвал.
Спросите,
как
Двина-река,

кровью
 крашенная,
трупы
 вытая,
с кладью
 страшную
шла
 в Ледовитый.
Как храбрецы
 расстреливали кучей
коммуниста
 одного,
 да и тот скручен.
Как офицера
 его
 величества
бежали
 от выстрелов,
 берег вычистя.
Как над серыми
 хатами
 огненные перья
и руки
 холеные
 туго
 у горл.
Но...
 „итс э лонг уэй
 ту Типерери,



ՀԱՄԱՅԵՆԱ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

итс э лонг уэй
ту го!"
На первую
республику
рабочих и крестьян,
сверкая
выстрелами,
штыками блестя,
гнали
армии,
флоты катили
богатые мира,
и эти
и те...
Будьте вы прокляты,
прогневившие
королевства и демократии,
со своими
подмоченными
„фратэрнитэ“ и „эгалитэ“!
Свинцовый
льется
на нас
кипяток.
Одни мы —
и спрятаться негде.
„Янки
дудль
кип ит об,

Янки дудль дэнди".—
Посреди
 винтовок
 и орудий голосища
Москва—
 островком,
 и мы на островке.
Мы—
 голодные,
 мы —
 нищие,
с Лениным в башке
 и с наганом в руке.

11

Несется
 жизнь
 овеевая,
проста, суха.
Живу
 в домах Стахеева я,
теперь
 Веэсенха.
Свезли,
 винтовкой звякая,



богатых
и кассы.

Теперь здесь
всякие

и люди
и классы.

Зимой
в печурку-пчелку

суют
тома шекспирьи.

Зубами
щелкают,—

картошка
пир им.

А летом
слушают асфальт

с копейками
в окне:

— Трансваль,
Трансваль,

страна моя,

ты вся
горишь

в огне!—

Я в этом
каменном

котле

варюсь, и эта жизнь —
и бег, и бой,
 и сон,
 и тлен —
в домовьи
 этажи
отражена
 от пят
 до лба,
грозою
 омываемая,
как отражается
 толпа
идущими
 трамваями.
В пальбу
 присев
 на корточки,
в покой
 глазами к форточке,
чтоб было
 видней,
я
 в комнатенке-лодочке
проплыл
 три тыщи дней.



Ходят
 спекулянты
 вокруг Главтопа.

Обнимут,
 зацелуют,
 убьют за руп.

Секретарши
 ответственные
 валенками
 топают.

За хлебными
 карточками
 стоят лесорубы.

Много
 дела,
 мало
 горя им:
 фунт
 — целый!—
 первой категории.

Рубят,
 липовый
 чай
 выкушав,
 мы
 не Филипповы,



ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՅՑ



мы —
 привыкши.
Будет
 обед,
 будет
 ужин,—
белых бы
 вон
 отбить от ворот.
Есть захотелось,
 пояс—
 потуже,
в руки винтовку
 и
 на фронт.
А
 мимо—
незаменимый,
стуча
 сапогом,
идет за пайком—
правление
 выдало
урюк
 и повидло.
Богатые —
 ловче,

едят
у Зунделовича.
Ни шей,
ни каш —
бифштекс
с бульоном,
хлеб
ваш,
полтора миллиона.
Ученому
хуже:
фосфор
нужен,
масло
на блюдец.
Но
как на́зло
есть революция,
а нету
масла.
Они —
научные.
Напишут,
вылечат, —
мандат, собственноручный,
Анатоль Васильевича.
Где
хлеб
да мяса,

придут
на час к вам.

Читает
комиссар
мандат Луначарского.

„Так...
сахар...

так...
жирок вам.

Дров...
березовых...
посуше поленья...

и шубу
широкого
потребленья.

Я вас,
товарищ,
спрашиваю в упор:

хотите —
берите
головной убор.

Приходит
каждый
с разной блажью.

Берите
пока што
ногу

лошажью!“

Мех
на глаза,
как баба-яга,
идут
назад
на трех ногах.

13

Двенадцать
квадратных аршин жилья.
Четверо
в помещении.
Лиля,
Ося,
я
и собака
Щеник.
Шапчонку
взял
оборванную
и вытащил салазки.
— Куда идешь?
— В уборную
иду.
На Ярославский.

Как парус,
 шуба
 на весу,
воняет
 козлом она.
В санях
 полено везу,
забрал
 забор разломанный.
Полено —
 тушею,
тверже камня.
Как будто
 вспухшее
колено
 великанье.
Вхожу
 с бревном в обнимку.
Запотел,
 вымок,
Важно
 и чинно
строгаю перочинным.
Нож —
 ржа.
Режу.
 Радуюсь.

В голове жар
подымает градус.
Зацветают луга,
май поет
в уши,—
это
тянется угар
из-под черных вьюшек.
Четверо сосуллек
свернулись,
уснули.
Приходят
люди,
ходят,
будят.
Добудились еле —
с углей
угорели.
В окно —
сугроб
глядит г орбат.
Не вымерзли покамест?
Морозы
в ночь
идут, скрипят
снегами-сапогами.

Небосвод,
наклонившийся
на комнату мою,
морем
заката
облит.
По розовой
глади
моря
на юг —
тучи-корабли.
За гладь,
за розовую,
бросать якоря,
туда,
где березовые
дрова
горят.
Я
много
в теплых странах плутал.
Но только
в этой зиме
понятной
стала
мне
теплота —



любовей,
дружб
и семей.
Лишь лежа
в такую вот гололедь,
зубами
вместе
проляскав —
поймешь:
нельзя
на людей жалеть
ни одеяло,
ни ласку.
Землю,
где воздух,
как сладкий морс,
бросишь
и мчишь, колеся,—
но землю,
с которою
вместе мерз,
вовек
разлюбить нельзя.

Скрыла
 та зима,
 худа и строга,
 всех,
 кто навек
 ушел ко сну.
 Где уж тут словам!
 И в этих
 строках
 боли
 волжской
 я не коснусь.
 Я
 дни беру
 из ряда дней,
 что с тыщей
 дней
 в родне.
 Из серой
 полосы
 деньки,
 их гнали
 годы-
 водники —
 не очень
 сытенькие,

не очень
голодненькие.

Если
я
чего написал,

если
чего
сказал,—

тому виной
глаза-небеса,

любимой
моей
глаза.

Круглые
да карие,
горячие
до гари.

Телефон
взбесился шалый,

в ухо
грохнул обухом:

карие
глазища
сжала

голода
опухоль.

Врач наболтал—

чтоб глаза
глазели,
нужна
теплота,
нужна
зелень.
Не домой,
не на суп,
а к любимой
в гости
две
морковинки
несу
за зеленый хвостик.
Я
много дарил
конфет да букетов,
но больше
всех
дорогих даров
я помню
морковь драгоценную эту
и пол-
полена
березовых дров.
Мокрые,
тощие
подмышкой
дровинки,

чуть
 потолще
средней бровинки.
Вспухли щеки.
Глазки —
 щелки.
Зелень
 и ласки
входили глазки.
Больше
 блюдца,
смотрят
 революцию.
Мне
 легше, чем всем,—
я
 Маяковский.
Сижу
 и ем
кусок
 конский.
Скрип—
 дверь,
 плача.
Сестра
 младшая.
— Здравствуй, Володя!
— Здравствуй, Оля!

Завтра новогодіе —
нет ли соли?
Делю,
в ладонях вешаю
шепотку
отсыревшую.
Одолевая
снег
и страх,
скользит сестра,
идет сестра,
бредет
трехверстной Преснею
солить
картошку пресную.
Рядом
мороз
шел
и рос.
Затевал
щекотку —
отдай
шепотку.
Пришла,
а соль
не валится —
примерзла
к пальцам.

За стенкой —
шарк:

„Иди,
жена,
продай
пиджак,
купи
пшена“.

Окно, —
с него,
идут
снега,
мягка
снегов,
тиха
нога.

Бела,
гола
столиц
скала.

Прилип
к скале
лесов
скелет.

И вот
из-за леса
небу в шаль

вползает
солнца
вша.
Декабрьский
рассвет,
изможденный
и поздний.
встает
над Москвой
горячкой тифозной.
Ушли
тучи
к странам
тучным.
За тучей
берегом
лежит
Америка.
Лежала,
лакала
кофе,
какао.
В лицо вам,
толще
свиных причуд,
круглей
ресторанных блюд.



из нищей
нашей
земли
кричу:
— Я
землю
эту
люблю.
Можно
забыть,
где и когда
пузы растил
и зобы,
но землю,
с которой
вдвоем голодал,—
нельзя
никогда
забыть!

15

Под ухом
самым
лестница
ступенек на двести,—
несут
минуты-вестницы



по лестнице
вести.
Дни пришли
и топали:
— Дожили,
вот вам,—
нету
топлив
брюхам
заводовым.
Дымом
небесный
лак помутив,
до самой трубы,
до носа
локомотив
стоит
в заносах.
Положив
на валенки
цветные заплаты,
из ворот,
из железного зёва,
снова
шли,
ухватясь за лопаты,
все,
кто мобилизован.



Вышли
 за лес,
вместе
 взялись.
Я ли,
 вы ли,
откопали,
 вырыли.
И снова
 поезд
 катит
за снежную
 скатерть.
Слабеет
 тело
без ед
 и питья.
Носилки сделали,
руки сплетя.
Теперь
 запевай
 и домой можно —
да на руки
 положено
пять обмороженных.
Сегодня
 на лестнице
 грязной и тусклой

копались
 обывательские
 слухи-свиньи.

Деникин
 подходит
 к самой
 к тульской,
к пороховой
 сердцевине.

Обулись обыватели,
 по пыли печатают
шопотоголосые
 кухарочки хоры:
— Будет...
 крупчатая!..
 пуды непочатые...
ручки — чаи,
 сухари,
 сахары.

Бли-и-и-зко беленькие,
береги кёренки!—
Но город
 проснулся,
 в плакаты кадрóванный, —
это
 партия звала:
 „Пролетарий, на коня!“



ՀԱՄԱԵՆԱՆ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

И красные
 скачут
 на юг —
 эскадроны

Мамонтова
 нагонять.

Сегодня
 день
 вбежал второпях,

криком
 тишь
 порвав,
простреленным
 легким
 часто хрипя, —

упал
 и кончался,
 кровав.

Кровь
 по ступенькам
 стекала на пол,

стыла
 с пылью пополам
и снова
 на пол

 каплями
 капала

из-под пули
 Каплан.



Четверолапые
зашагали,
визг
шел
шакалий.

Салоп
говорит
чуйке,

— чуйка
салопу:
— Заерзали
длинноносые шуки!

Скоро
всех
слопают!—
А потом
топырили
глаза-тарелины
в длинную
фамилий
и званий тропу.
Ветер
сдирает
списки расстрелянных,
рвет,
закручивает
и пускает в трубу.
Лапа
класса
лежит на хищнике,—
Лубянская
лапа
че-ка.
— Замрите, враги!
Отойдите, лишненькие!
Обыватели!
Смирно!
у очага!—
Миллионный
класс
вставал за Ильича



против
 белого
 чудовища клыкастого,
и вливалось
 в Ленина,
 леча,
этой воли
 лучшее лекарство.
Хоронились
 обыватели
 за кухни,
 за пеленки.
Нас не трогайте —
 мы —
 цыпленки.
Мы только мошки,
мы ждем кормежки.
Закройте,
 время,
 вашу пасть!
Мы обыватели —
нас обувайте вы,
и мы
 уже
 за вашу власть.—
А утром
 небо —
 веча звонница!



Экспонат
Библиотеки
Историко-литературного
музея им. А.С. Пушкина

Вчерашний
 день
 вина во лжи,
раскололивали
 птицы и солнце:
жив,
 жив,
 жив,
 жив!
И снова
 дни
 чередой заводной
сбегались
 и просили:
— Идем
 за нами —
 „еще
 одно
усилье“.
От боя к труду —
 от труда
 до атак, —
в голоде,
 в холоде
 и нагоде
держали
 взятое,
 да так,

что кровь
выступала из-под ногтей.
Я видел
места,
где инжир с айвой
росли
без труда
у рта моего,—
к таким
относишься
иначе.
Но землю,
которую
завоевал
и полуживую
вынянчил,
где с пулей встань,
с винтовкой ложись,
где каплей
льешься с массами,—
с такую
землю
пойдешь
на жизнь,
на труд,
на праздник
и на смерть!



Мне
 рассказывал
 тихий еврей,
Павел Ильич Лавут:
„Только что
 вышел я
 из дверей,
вижу —
 они плывут...“
Бегут
 по Севастополю
к дымящим пароходам.
За день
 подметок стопали,
как за год похода.
На рейде
 транспорты
 и транспорточки,
драки,
 крики,
 ругня,
 мотня,—
бегут
 добровольцы,
 задрав порточки,—
чистая публика
 и солдатня.

У кого —
 канарейка,
 у кого —
 роялина,
кто со шкафом,
 кто
 с утюгом.
Кадеты, —
 на что уж
 люди лояльные, —
толкались локтями,
 крыли матюгом.
Забыли приличие,
 бросили моду,
кто —
 без юбки,
 а кто —
 без носков.
Бьет
 мужчина
 даму
 в морду,
солдат
 полковника
 сбивает с мостков.
Наши наседали,
 крыли по трапам,

кашей
грузился
последний эшелон.

Хлопнув
дверью,
сухой, как рапорт,
из штаба
опустевшего

вышел он.

Глядя
на ноги,
шагом
резким,
шел
Врангель
в черной черкеске.
Город бросили,
На молу —
голо.

Лодка
шестивёсельная
стоит
у мола.

И над белым тленом,
как от пули падающий,
на оба
колена
упал главнокомандующий.

Трижды
 землю
 поцеловавши,

трижды
 город
 перекрестил.

Под пули
 в лодку прыгнул...

 — Ваше
превосходительство,
 грести?

 — Грести!

Убрали весло.
Мотор
 заторкал.

Пошла
 весело
к „Алмазу“

 моторка.
Пулей
 пролетела

 штандартная яхта.
А в транспортах-галошинах
 далеко

 сзади
тащились
 оторванные

 от станка и пахот,



ՀԱՄԱՅԵՆԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐԱԿԱՆ
ԳՐԱԴԱՐԱՆ

узлов
полтора
накручивая за день.

От родины
в лапы турецкой полиции,
к туркам в дыру,
в Дарданеллы узкие,
плыли
завтрашние галлиполийцы,
плыли
вчерашние русские.

Впе-
реди
година на године.

Каждого
трясись,
который в каске.

Будешь
доить
коров в Аргентине,
будешь
мереть
по ямам африканским.

Чужие
волны
качали транспорты,
флаги
с полумесяцем
бросались в очи,

и с транспортов
за яхтой
гналось:
„Аспиды,
сперли казну
и удрали, сволочи“.
Уже
экипажам
оберегаться
пули
шальной
надо.
Два
миноносца-американца
стояли
на рейде
рядом.
Адмирал
трубой обвел
стреляющих
гор
край:
— Ол
райт.—
И ушли
в хвосте отступающих свор,—
орудия на город,
курс на Босфор.



УДК 72.001.01
ББК 84.001.01

В духовках солнца
горы
жаркое.

Воздух
цветы рассиропили.

Наши
с песней
идут от Джанкоя,
сыпятся
с Симферополя.

Перебивая
пуль разговор,
знаменами
бой
овевая,

с красными
вместе
спускается с гор

песня
боевая.

Не гнулась,
когда
пулеметом крошило,

вставала
бесстрашная
в дожде-свинце:

„И с нами
Ворошилов,



первый красный офицер“.

Слушают

пушки,

морские ведьмы,

у-

ле-

петывая

во винты во все,

как сыпется

с гор

— „готовы умереть мы

за Эс Эс Эс Эр!“

Начштаба

морщит лоб.

Пальцы

корявой руки

буквы

непослушные гнут:

„Врангель

оп-

раки-

нут

в море.

Пленных нет“.

Покамест —

точка. Конец

и телеграмме

и войне.



Вспомнили —
недопахано,
недожато у кого,
у кого
доменные
топки да зори.
И пошли,
отирая пот рукавом,
расставив
на вышках
дозоры.

17

Хвалить
не заставят
ни долг,
ни стих
всего,
что делаем мы.
Я
пол-отчества мог бы
снести,
а пол —
отстроить, умыв.
Я с теми,
кто вышел
строить
и месть



в сплошной
 лихорадке
 буден.

Отечество
 славлю,
 которое есть,
но трижды —
 которое будет.

Я
 планов наших
 люблю громадьё,
размаха
 шаги саженьи.

Я радуюсь
 маршу,
 которым идем
в работу
 и в сраженья.

Я вижу —
 где сор сегодня гниет,
где только земля простая,—
на сажень вижу,
 из-под нее

коммуны
 дома
 прорастают.

И меркнет
 доверье
 к природным дарам,



НАЦІАНАЛЬНАЯ
БІБЛІАТЕКА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

с унылым
пудом сенца,
и поворачиваются
к тракторам
крестьян
заскорузлые сердца.
И планы,
что раньше
задерживал на станциях лбов
нищенства тормоз,
сегодня
встают
из дня голубого,
железом
и камнем формясь.
И я,
как весну человечества,
рожденную
в трудах и в бою,
пою
мое отечество,
республику мою!


18

На девять
сюда
октябрей и маёв,



THE ILLUSTRATED
LONDON NEWS

под красными
флагами
праздничных шествий,—
носил,
с миллионами,
сердце мое,
уверен
и весел,
горд
и торжествен.
Сюда,
под траур
и плеск чернофлажй,
пока
убитого
кровь горяча,—
бежал,
от тревоги
на выстрелы вражьи,
молчать
и мрачнеть,
кричать
и рычать.
Я
здесь
бывал
в барабанах стучащих



и в мертвом
 холоде
а чаще еще — слез и льдин,
 просто
 один.
Солдаты башен
 стражей стоят,
подняв
 свои
 островерхние шлемы,—
и, злобу
 в башках куполов
 тая,
притворствуют
 церкви,
 монашьи шельмы.

Ночь —
 и на головы нам
луна.
Она
 идет
 оттуда откуда-то...
отту да,
 где
 Совнарком и ЦИК,
Кремля
 кусок
 от ночи откутав,

переползает
через зубы.

Вползает
на гладкий

валун,

на секунду

склоняет

голову,

и вновь

голова-лунь

уносится

с камня

голового.

Место лобное —

для голов

ужасно неудобное.

И лунным

пламенем

озарена мне

площадь

в сияньи,

в яви

в денной...

Стена.

И женщина со знаменем

склонилась

над теми,

кто лег под стеной.



ՀԱՄԱԵՆԻԱ
ԿՆՆԱԳՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Облил
булыжники
лунный никель,
штыки
от луны
и тверже
и злей,
и
как нагроможденные книги —
его
мавзолеей.
Но в эту
дверь
никакая тоска
не втянет
меня,
черна и вязка, —
души
не смущу
мертвизной, —
он бьется,
как бился
в сердцах
и висках,
живой
человечьей весной.
Но могилы
не пускают,
и меня
останавливают имена.

Читаю угрюмо:
„Товарищ Красин“.
И вижу —
Париж.
И Красин
едет,
сед и прекрасен,
сквозь радость рабочих,
шумящую морево.
Вот с этим
виделся
чуть не за час.
Смеялся.
Снимался около...
И падает
Войков,
кровью сочась,—
и кровью
газета намокла.
За ним
предо мной
на мгновенье короткое
такой,
с каким
портретами сжились,—
в шинели измятой,
с острой бородкой,



САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

прошел
человек,
железен и жилист.
Юноше,
обдумывающему
житье,
решающему —
сделать бы жизнь с кого,
скажу
не задумываясь:
— Делай ее
с товарища
Дзержинского.—
Кто костями,
кто пеплом
стенам под стопу
улеглись...
А то
и пепла нет.
От трудов,
от каторг
и от пуль,
и никто
почти —
от долгих лет.
И чудится мне,
что на красном погосте

товарищей
мучит
тревоги отравы.
По пеплам идет,
сочится по кости,
выходит
на свет
по цветам
и по травам.
И травы
с цветами
шуршат в беспокойстве:
— Скажите —
вы здесь?
Скажите —
не сдали?
Идут ли вперед?
Не стоят ли? —
Скажите.
Достроит
коммуны —
из света и стали
республики
вашей
сегодняшний житель? —
— Тише, товарищи, спите...
Ваша
подросток-страна



ՀԱՄԱՅԵՐԱ
ԶՆԵՂԱԳՐԱԳԵՐ

с каждой
весной
ослепительней,
крепнет,
сильна и стройна.—
И снова
шорох
в пепельной вазе,
лепечут
венки
языками лент:
— А в ихних
черных
Европах и Азиях
боязнь,
дремота и цепи?
— Нет!
В мире
насилья и денег,
тюрем
и петель витья—
ваши
великие тени
ходят,
будя
и веда.—
— А вас
не тянет
всевластная тина?



Чиновность
в мозгах
паутину
не свила?

Скажите —
цела?
Скажите —
едина?

Готова ли
к бою
партийная сила? —
— Спице,
товарищи, тише...

Кто
ваш покой отберет?
Встанем,
штыки оцетинивши,
с первым
приказом:
„Вперед!“

19

Я
земной шар
чуть не весь
обошел, —

и жизнь хороша,
и жить хорошо.
А в нашей буче,
боевой, кипучей,
и того лучше.
Вьется
улица-змея.
Дома
вдоль змеи.
Улица —
моя.
Дома —
мои.
Окна
разинув,
стоят
магазины.
В окнах
продукты,
вина,
фрукты.
От мух
кисея.
Сыры
не засижены.



ՆԱԿՈՅԵՆԱ
ԵՆԵՔՈՐԱԾՅՅՆ



Лампы
сияют.
„Цены
снижены“.
Стала
оперяться
моя
кооперация.
Бьем
грошом.
Очень хорошо.
Грудью
у витринных
книжных груд.
Моя
фамилия
в поэтической рубрике.
Радуюсь я —
это
мой труд
вливается
в труд
моей республики.
Пыль
взбили
шиной губатой, —
в моем
автомобиле



НАЦИОНАЛЬНАЯ
БИБЛИОТЕКА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

мои депутаты.

В красное здание на заседание.

Сидите, не советую

в моем Моссовете.

Розовые лица.

Револьвер желтый.

Моя милиция

меня бережет.

Жезлом правит,

чтоб вправо — шел.

Пойду направо.

Очень хорошо.

Надо мною небо —

синий шелк.

Никогда не было

так
хорошо!
Тучи-
кочки
переплыли летчики.
Это
летчики мои.
Встал
словно дерево я.
Всыпят,
как пойдут в бои,
по число
по первое.
В газету
глаза:
— Молодцы—венцы!
Буржуям
под зад
наддают
коленцем.
Суд
жгут.
Зер
гут!
Идет
пожар
сквозь бумажный шорох.

Прокуроры
дрожат.

Как хорошо!
Пестрит

передовица
угроз паршой.

Чтоб им подавиться.
Грозят?

Хорошо.
Полки

идут
у меня на виду.

Барабану
в бока

бьют
войска.

Нога
крепка,

голова
высока.

Пушки
ввозятся,—

идут
краснозвезды.

Приспособил
к маршу

такт ноги:

вра-
ги
ва-
ши —
мо-
и
вра-
ги.
Лезут?
Хорошо.
Сотрем
в порошок.
Дымовой
дых
тяг. мною
Воздуха береги.
Пых-дых,
пых-
тяг
мой фабрики.
Пыши,
машина,
шибче-ка —
вовек чтоб
не смолкла, —
побольше
ситчика



моим
комсомолкам.

Ветер

подул

в соседнем саду.

В ду-

хах

про-

шел.

Как хо-

рошо!

За городом —
поле.

В полях —
 деревеньки.
 В деревнях —
 крестьяне!
 Бороды —
 веники.
 Сидят
 папаши.
 Каждый
 хитр.
 Землю попашет,
 попишет
 стихи.
 Что ни хутор,
 от ранних утр
 работа любá.
 Сеют,
 пекут
 мне
 хлебá.
 Доят,
 пашут,
 ловят рыбицу;
 республика наша
 строится,
 дыбится.
 Другим



странам
по сто.
История —
пастью гроба.
А моя
страна —
подросток, —
твори,
выдумывай,
пробуй!
Радость прет.
Не для вас
уделить ли нам?!
Жизнь прекрасна
и
удивительна.
Лет до ста
расти
нам
без старости.
Год от года
расти
нашей бодрости.
Славьте,
молот
и стих,
землю молодости.



СОДЕРЖАНИЕ

От издательства	5
Облако в штанах	7
Хорошо!	43

ЧИТАТЕЛЬ:

Издательство просит сообщить отзыв об этой книге, указав ваш точный адрес, профессию и возраст.

Просьба к библиотечным работникам организовать учет спроса на книгу и сбор читательских отзывов о ней.

Все отзывы и материалы направлять по адресу: Москва 9, Большой Гнезниковский переулок, д. № 10, издательство „Советский писатель“.



Отв. редактор *К. Зелинский*.
Техн. редактор *М. Терюшин*,
Корректор *Е. Бокшицкая*.

Уполн. Главлита № Б-7414.

Тираж 7000 экз. С. П. № 17.

Сдана в производство 3 ноября 1936 г.

Подписана к печати 26 февраля 1937 г.

Бумага 72×90³/₁₆. Печати. л. 10³/₁₆ + 8 вкладок.

Авт. л. 5,14. Кол. знаков в печ. л. 29.200.

Типография „Полиграф“, гор. Горький,
ул. Фигнер, 32. Заказ № 8811.

Цена 6 р. 75 к., переплет 1 р. 75 к.



8p 50r

M7266

